

Олег РОМЕНКО

г. Белгород

# ФИЛАТЕЛИСТЫ

рассказ



«И-rrr-ина! Наташа! Вставайте! В школу по-rrr-а!!!» — бодрый и зычный голос с улицы прогремел как труба иерихонская. Человек не только картавил, но и так пробуксовывал на букве «эр», что мне показалось, будто за стеной завизжал перфоратор, вгрызаясь рывками в бетон — «р-рр-rrr». Раздражённый этими звуками, я подошёл к окну и увидел внизу карлика с ранцем, нетерпеливо расхаживающего вдоль узкого тротуара во дворе. Через минуту из нашего подъезда выскочила девочка с портфелем, а следом за ней ещё одна — из соседнего подъезда. И троём они двинулись к школе.

Я заболел гриппом, и мне не нужно было рано вставать и куда-то идти. Уже несколько дней бабушка с дедом пребывали в подавленном состоянии, но не из-за моего самочувствия. Скончался очередной генсек Константин Черненко. «Всё прахом пойдёт!» — безнадежно ворчал дед. «Не каркай!» — крысилась на него бабушка.

Вскоре я поправился, и ко мне зашёл в гости друг с первого этажа Костик Емельянов. Это был мой ровесник, и мы вместе «болели» летом футболом, а зимой — хоккеем. Костик был блондин с вьющимися волосами и умными карими глазами и такой же, как я, худощавый мальчик, юркий и выносливый в играх. Мы с ним были лучшими игроками среди детворы и поэтому постоянно «рубались» друг против друга в разных командах, чтобы уравнивать шансы соперников. Но это «противостояние» несколько не мешало нам быть верными друзьями.

Я рассказал Костику про громогласного карлика, и мой друг, как петарда, взорвался от смеха. Немного успокоившись, он объяснил: «Это Миша Мезис. Он живёт на девятом этаже в нашем подъезде. В школе все зовут его Рупором. Раз я попросился на уроке выйти. Иду и слышу в кабинете пения кто-то не поёт, а орёт как сумасшедший: «Сю-rrr-приз! Сю-rrr-приз! Да зд-rrr-авствует сю-rrr-приз!!!» Хочешь, познакомлю с ним?»

На следующий день мы пошли к Мезису. Костик сказал, что Рупор на два года старше нас и учится в третьем классе. Дверь нам открыл сам Миша. Он оказался на полголовы ниже нас, но эта голова, на которой топорщи-

лись ёжиком волосы пепельного оттенка, размером была как у взрослого человека, с высоким и выпуклым «профессорским» лбом, нависающим над переносицей. Из-под дикорастущих кустистых бровей смотрели холодные голубые глаза, излучающие настороженный интерес к собеседнику, а ещё ниже на лице выделялись мясистый нос и губы-вареники. Руки, как и ноги, у него были короткие и толстые, но в них чувствовалась недюжинная сила.

«Привет, Миха!» — добродушно улыбнулся Костик и протянул ему руку. Миша, в клетчатой красной рубашке с короткими рукавами и синих трикотажных брюках, быстро сделал два шага навстречу, переваливаясь как утка, и, отведя правую руку за спину, будто хотел почесать поясницу, резко выбросил её вперёд. Раздался звонкий хлопок ладони об ладонь, и от крепкого рукопожатия с лица Костики слетела улыбка. «П-ррр-ивет, Кастет!» — протрубил Рупор.

«Видел у нашего дирика новую «Волгу»?» — продолжил Костик. «К-ррр-утая машина!» — восторженно одобрил Миша, как будто директор школы был его отцом, которым он очень гордился. Потом они ещё поговорили о делах своей 38-й школы, никак меня не касавшихся (я учился в 10-й), и наконец Костик представил меня: «Это сосед с пятого этажа». Миша перевёл наэлектризованный взгляд на меня и закричал как контуженый: «Я видел тебя во дво-ррр-е! Ты иг-ррр-ал в мяч!»

Мы познакомились и сразу нашли общий язык. «Пацаны, а давайте в бу-ррр-козла сыг-ррр-аем!» — радостно воскликнул Миша, приглашая к себе домой. Я к тому времени уже успел пристраститься к картам через мамину сестру тётю Люду, к которой мы заходили после садика, и она постоянно мне проигрывала несколько рублей мелочью. Я знал, что она поддавалась, но выигрыш забирал.

Мы вошли в его маленькую комнатку-кейку, в которой умещались односпальная кровать, шифоньер и письменный стол со стульями. Над кроватью висел ковёр-картина «Нападение волков на тройку», а на столе стояла небольшая миска с домашним печеньем. «Угощайтесь! — гостеприимно предложил Миша. — Сам испёк! На ма-ррр-га-ррр-ине». Я вслед за Костиком протянул руку к миске, но,

услышав слово «маргарин», испуганно отдёргнул её назад, как это сделал бы «правоверный», услышавший, что печенье приготовлено на свином жиру. Мама часто напоминала мне, что маргарин очень опасен для здоровья, и этот суррогат стал для меня синонимом яда.

Вскоре мы снова встретились с Мишей возле лифта на первом этаже. «Хочешь, ма-ррр-ки покажу?» — спросил он. Я ровно дышал к скучным и невзрачным маркам стран ОВД, которые продавались во всех киосках «Союзпечати», но из вежливости согласился. Поднявшись на лифте, мы зашли к Мише. Он вытащил из ящика стола большой и толстый, как энциклопедия, альбом в зелёной обложке и открыл первую страницу.

Это были совсем другие марки — не такие, как в киосках. Не только прямоугольные и квадратные, но ещё и треугольные, ромбические. Кубинские, монгольские, арабские. Яркие и красивые, переливающиеся на свету сквозь карманы-полоски из глянцевой кальки, эти марки преобразались настолько, что изображённое на них казалось более настоящим и живым, чем окружающая действительность.

Особенное очарование маркам придавала зубцовка. Я читал, что продажи кока-колы пошли вверх только после того, как один человек предложил разливать её в бутылки. И мне кажется, что не придумай человечество наносить перфорацию на листы почтовых марок для облегчения отделения их друг от друга, то не появились бы и филателисты.

В начале альбома, с полупрозрачными листами бумаги, вклеенными между тёмно-серыми страницами, были коллекции с неповоротливыми динозаврами, бродившими среди крупных папоротников и хвощей, и носившимися с криком над бушующим океаном птеродактилями. Миша перевернул страницу, и я увидел невероятно красивые и пышные, в капельках после дождя хризантемы, георгины, розы. За ними следовали резвящиеся в лазурных волнах дельфины, притаившийся на дне скат, патрулирующая свою территорию рыба-меч. Потом показались каравеллы Колумба и Магеллана, а за ними коллекции с огромными воздушными шарами над зелёными долинами.

Миша переворачивал страницу за страницей, и передо мной мелькали пёстрые попугаи и розовые фламинго, пятнистые жирафы и полосатые тигры, грибы с красными шляпками в белый горошек и с коричневыми шляпками, облепленными вечнозелёными хвоинками. На моих глазах проносились ужасно дымящие паровозы, перевозившие в вагонах переселенцев по прериям Дикого Запада, а за вершиной коллекции уже современные поезда метрополитенов в мегаполисах.

Потом появились футболисты, боксёры, метатели копий, хоккеисты, бобслеисты, лыжники. Вот ребята сидят у пионерского костра. А вот монгольские пастухи собрались у телевизора и, разинув рты, наблюдают за нашим «Союзом», вышедшим на орбиту. Затем следуют коллекции со спутниками, ракетами, космическими кораблями. Лучезарно улыбающиеся люди в скафандрах приветствуют жителей Земли из безвоздушного пространства, а на шлемах у них крупными красными буквами написано – «СССР».

Мне казалось, что Миша вовсе не карлик, а гуманоид с маленьким тельцем, короткими ручками и ножками, необычайно крупной головой и глазами, излучающими нездешний ледяной голубой свет. Гуманоид, раскрывший передо мной Книгу Бытия Вселенной. Меня охватило чувство восхищения перед красотой нашей планеты и трепета перед величием человеческого гения. То ли ещё будет, когда я вырасту и тоже внесу свою лепту в процесс совершенствования мира!..

И тут на всю квартиру раздался поющий хрустальный голос: «Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь...» А потом мы услышали сзади сильный и глубокий бас: «Михаил! Иди фильм смотреть!» Я обернулся и увидел прислонившегося плечом к стене Мишиного отца. На нём был цветастый кухонный фартук. В руках он держал эмалированную миску с тестом и ручной миксер. Отец был рыжим, а на носу у него сидели квадратные очки с толстыми линзами. Он близоруко хмурился и застенчиво улыбался. «Хо-ррр-ошо, пап!» — пророкотал сын.

Лицом Миша очень походил на отца, а сест-

ра — второклассница — так же сильно на мать. Жили они четвером. Все, кроме Миши, были обычными людьми естественного телосложения. Сестра Ирина уродилась рыжеволосой и веснушчатой красавицей, но была замкнутой, неразговорчивой и ни с кем не дружила. Позднее она завела бульдога и только с ним и гуляла, никого не подпуская к себе. Мне казалось, что она так сильно комплексовала перед сверстниками из-за брата, как будто это она была карлицей, а не он.

Я попрощался с Мишей и пулей ринулся домой, чтобы успеть к началу четвёртой серии премьерного показа. «Гостя из будущего» вызвала у зрителей массовую эйфорию, усиленную всеобщей влюблённостью в нового молодого и энергичного генерального секретаря. Я бежал по ступенькам вниз, и сердце холодело от мысли, что за каждым углом меня поджидают космические пираты с бластерами.

Но, когда начался фильм, тут меня и накрыло по-настоящему. Я смотрел на экран, а видел перед собой раскрытый альбом. Миша неспешно переворачивал справа налево картонные листы, словно перебирал струны на гусях пальцами-сардельками, и, томно полуприкрыв веки, ворковал: «Ма-ррр-очки!» На следующий день я пошёл на разведку в магазин «Союзпечать» на улице Попова.

Поднявшись по мраморным ступеням, я потянул за ручку входную железную дверь со стеклом, и мне ударил в нос тошнотворный, как нашатырь, запах типографской краски. У входа на длинном столе были разложены кипы свёрнутых свежих газет — «Правда», «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Советский спорт»... Левее — журналы и книги, открытки и конверты, карандаши и фломастеры, альбомы и тетради...

Но самое ценное находилось в нескольких замыкающих торговый ряд стеклянных витринах, на которые с потолка падал яркий электрический свет. На подложках из тёмного картона красовались, как ювелирные украшения, марки вроде тех, что я видел у Миши.

Под стеклом манили и приковывали взгляд коллекции пёстрых тропических бабочек и экзотических морских рыбок, умытых росой цветов и взмыленных арабских скакунов, трудолюбивых пчёл и сладкоголосых птиц... Стоили

такие коллекции из нескольких марок в среднем пять рублей — дневной заработок скромного советского бюджетника. Тут же под стеклом находилось два кляссера. Один маленький, книжного формата, стоил пять рублей тридцать копеек. Второй, большой, как у Миши, стоил десять рублей сорок копеек — ровно столько мама вносила каждый месяц нашей классной за моё питание в школьной столовой.

Я подумал, как хорошо, наверное, быть взрослым. Они получают зарплату и могут тратить деньги на всё, что захочется. Но взрослые такие бестолковые! Вот дядя Саша с другом Пашей, работавшие сварщиками, пили как сапожники. По выходным они встречались возле гастронома, брали три бутылки портвейна и полный пакет жареной мойвы в кулинарии, а потом пировали у нас на кухне.

Изрядно выпив, оба друга сидели осоловевшие, с блестящими от жира губами, собрав глаза в кучу над кучей голов съеденной мойвы, похожей на погребальный курган. Паша, расстегнув рубаху до середины и оттянув её за ворот назад, отчего казалось, что за спиной у него топорщился небольшой горб, подпевал дяде Саше, сидевшему напротив с голым торсом: «Я!!! Коней напою-у-у! Я!!! Куплет допою-у-у! Хоть немного ещё-о-о! Постою-у-у! На краю-у-у!»

Бабушка, читавшая газету, подсакивала как ужаленная со своего скрипучего дивана, одной рукой сворачивая газету, а другой — складывая очки, и бежала на кухню как на пожар: «А ну замовкните, падлы! А то я выгоню вас на вулицю, як псив!» Обычно дядя Саша возражал, а друг Паша ему поддакивал. Тогда бабушку начинало трясти от гнева и она, рванув с ручки двери свой кухонный рушник, принималась лупцевать им обоих товарищей по раскрасневшимся от вина мордам.

Потом дядя Саша с другом Пашей, шмыгая носами от обиды, что бабушка высекла их полотенцем, быстро обувались в коридоре. Но перед тем как хлопнуть дверью, дядя Саша, желая напоследок поиграть на нервах матери, надрывно, как его кумир, хрипел на всю квартиру: «Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами!»

Я подумал: вот если бы утром к дяде Саше пришёл друг Паша — выбритый, наодеколоненный, в белоснежной рубашке с кляссером под мыш-

кой — и, лучезарно улыбаясь, восторженно воскликнул бы: «Зацени, Сашок, сколько я новых марок прикупил с полочки! Это у меня уже второй альбом!» А дядя Саша — в ответ: «А посмотри, что у меня! Закачаешься!» И оба друга сидели бы на кровати, весело и беззаботно болтая в воздухе ногами, с альбомами в руках, и бабушка не нервничала и не ругалась бы.

Когда передо мной возникали серьёзные препятствия, то я сначала преодолевал их силой воображения, а потом уже искал реальный выход из ситуации. Я фантазировал и представлял себя взрослым, которому по карману быть филателистом. Но ведь, пока станешь взрослым, успеешь состариться.

Дома просить денег на марки я считал беспозлным и бессовестным делом. Я долго думал, но всякий раз мои мысли возвращались к Мише. Его альбом с марками «весил» рублей двести, а то и триста. Где он взял такие деньги? Неужели родители помогли?.. «Нет! Ррр-одители мне денег на ма-ррр-ки не дают», — немного растерянно, глядя мне в глаза, как подозреваемый — следователю, ответил Миша и чистосердечно рассказал о своём источнике доходов.

Он собирал по мусоркам и свалкам выброшенную старую одежду, а потом сдавал её за деньги в какой-то магазин, который назывался «Стимул». Я представил, как мальчик-карлик с заплечным мешком, стоя на горе мусора, выуживает из неё лыжной палкой всякую рванину, и понял, что мне такой вид заработка никак не подходит.

Рассказ Миши поверг меня в уныние. Но я не сдавался. В голове у меня вертелся глагол «собирать». Миша собирал тряпье, а что я могу собирать и сдавать за деньги? Иногда меня отправляли сдавать накопившиеся в доме бутылки, но деньги я всегда отдавал маме или бабушке.

Я стал вспоминать, как, гуляя с друзьями, то тут, то там видел валявшиеся под кустами пустые пивные бутылки. А ведь каждая бутылка — это двадцать копеек. Собирай бутылки — и соберёшь марки. Возбужденный, как Архимед, выпрыгнувший из ванны с криком: «Эврика!», я сидел в кресле перед телевизором, в котором озабоченный генеральный секретарь говорил ленинградцам: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться».

Солнечным ласковым майским утром, когда многие горожане собирались на Площадь Революции отметить День солидарности трудящихся, я сунул в карман авоську и отправился собирать бутылки. Первая и последняя попала мне в палисаднике нашего дома под цветущим абрикосом. Мутно-зелёное стекло бутылки преобразовало жемчужные капельки росы. Позднее я прочитал у одного поэта-единомышленника: «Я не знал, что бутылки, как розы, тоже утром бывают в росе».

Затем я направился в дубовую посадку 38-й школы, где часто собиралась молодёжь из окрестных многоэтажек выпить и отдохнуть. Я прочесал пришкольную сторону посадки и не нашёл ни одной бутылки. Потом перебрался через тропинку оврага на другую сторону и, пройдя посадку до середины, увидел впереди бодро шагающую старушку с палкой, которая нужна была ей не для ходьбы, а для облегчения поиска предметов. За спиной у неё в почти полном рюкзаке позвякивали бутылки. Если бы я тогда знал героев и мир Достоевского, то ощутил бы себя Раскольниковым, глядя вслед исчезающей старушке в чёрной телогрейке.

Но Достоевского я тогда не читал, поэтому почувствовал себя грибником, встретившим на узкой тропинке в лесу другого грибника, вставшего ещё раньше тебя. Он идёт мимо, весело насвистывая, с двумя ведрами, полными опят, лисичек, груздей, подосиновиков, а ты стоишь с каменным лицом, стиснув зубы и сжав до боли в кулаке складной нож. Но в это время кто-то незримый и всемогущий взял меня за голову, как шахматист фигуру на доске, развернул на 180 градусов и ткнул в спину, чтобы я шёл быстрее и не оглядывался.

Снова спустившись по тропинке в овраг, который превратился в свалку непищевых отходов и стремительно уменьшался, как Аральское море, я заметил в ивняке что-то коричневое. Это оказался большой дорожный чемодан, к тому же очень тяжёлый для меня. С трудом протаскивая его волоком до тропинки, я нажал на замки, и он открылся.

Внутри оказались не наши нестандартные бутылки с белой, янтарной, малиновой жидкостью. На ярких и блестящих прозрачных и металлизированных этикетках было написано

не по-русски. Будь это нормальные советские бутылки, я тут же на радостях вылил бы их содержимое под куст и побежал бы обналичивать тару. Но что мне было делать с этим добром?

Я сидел перед «ящиком Пандоры» задумчивый, как роденовский Мыслитель, оперевшись локтем в колено, а подбородком — в ладонь. Вдруг перед моим взглядом возникла чья-то рука, и её костлявые пальцы ухватили одну бутылку за горлышко и потянули вверх. Я поднял глаза и увидел старика с палкой, в защитной военной рубахе и белом примятом картузе. Он молча перекладывал бутылку за бутылкой в свою сумку, а у меня голос перехватило от подступивших к горлу слёз.

Меня грабили среди бела дня. Сначала я думал, что у старика проснётся совесть и он вернет назад мои виски, бренди, ром, коньяк. Но он, ни слова не сказав и даже не взглянув на меня, забрал все бутылки и неспешно пошёл вверх, опираясь на палку. Во мне кипело негодование и слова просились наружу. Но какие? Мои сверстники называли стариков «старыми пердунами», но у меня язык никогда бы не повернулся произнести такую вульгарную и неблаговзвучную гадость. Тётя Люда называла своего благоверного Ереваныча «старым козлом», но и это не подходило, потому что я сразу представлял козла, а не человека.

Тогда я ещё не знал себя, но это был первый случай, когда меня посетили «муки творчества». Я искал слово, страдая, как рыба, выброшенная на берег, и перебирал в памяти все подходящие слова, что слышал и знал от людей, из кино и книг. И вот когда белый картуз добрался до вершины оврага и почти скрылся в посадке, я нашёл слово и радостно воскликнул: «Старый мерзавец!» Потом я защёлкнул замки опустошённого чемодана и вскочил. Схватив его обеими руками за ручку, я размахнулся, как метатель диска, и зашвырнул чемодан обратно в кусты. В конце концов дед ограбил не меня, а контрабандистов, сделавших в кустах свою протозакладку.

Я понял, что собирать бутылки — дело безнадежное. Вездесущие пенсионеры не оставляли мне шансов, а через пару недель ещё и «сухой закон» ввели. В июне, когда мама спросила, какой подарок мне хочется на день рождения, я привёл её в «Союзпечать» и показал альбом для марок в

витрине. Мы пошли на кассу, мама достала из кошелька синюю пятирублёвку и две белые монетки — новые и блестящие «пятнашки». Так у меня появился кляссер. Продавщица, передавая мне альбом с лежащим поверх него почтовым конвертом, поздравила нас с покупкой и сказала, что нам полагается в подарок набор марок.

Бутылки я приспособился брать у тёти Людды, которые у неё скапливались после попок с Ереванычем. Я приходил и выгрел сразу всё, что было. Обычно 15-20 пивных бутылок. Ереваныч косо смотрел на меня и бурчал: «Люди за такие деньги целый день работают, а ты сдал — и свободен». «Не лезь! Пусть сдаёт!» — тётя одёргивала его. Мне было нелегко тащить сразу столько бутылок. По дороге я останавливался и отдыхал. Благо, остановка была недалеко. Потом я ехал до «Союзпечати», возле которой из красного кирпича с остроконечной крышей был пункт приёма стеклотары.

Там я выстаивал очереди вместе со взрослыми при тусклом освещении, вдыхая воздух, пропитанный алкогольными парами. Тучная и флегматичная приёмщица лет сорока медленно обводила большим пальцем горлышко каждой бутылки на предмет обнаружения сколов стекла.

В очереди я часто мечтал. Однажды представил себя советским хоккеистом, закладывающим виражи и высекающим лезвиями коньков холодные голубые искры из льда. Я обыграл всю шведскую пятёрку и вышел один на один с вратарём в жёлтом свитере с тремя синими королевскими коронами на груди. Он панически метался от штанги до штанги в своей вратарской, а я почувствовал сильный толчок в спину. «Будет буллит», — подумал я, теряя равновесие, и налетел на шведского вратаря, который оказался высоким мужиком в серой болоньевой куртке. Сзади раздался прокуренный женский голос: «Мальчик, ты что, уснул?!» Ко мне обернулся мужик с длинным носом и завитушками вокруг облысевшей макушки. «Ты шо толкаис-си?» — певучим баском беззлобно возмутился он.

За летние каникулы мне удалось заполнить марками несколько страниц альбома, и я решил похвастаться своими сокровищами. С этого и началось брожение умов ребят из нашего двора. Первым от меня «заразился» Андрей Евтухов — очень живой, любознательный

и расчётливый мальчик из неблагополучной семьи, который только пошёл в первый класс.

Мать его работала уборщицей на заводе за 80 рублей, а отец сидел за поножовщину. Андрей был худеньким, с костлявыми плечами и коленками, курчавыми чёрными волосами, как у негр-ритёнка, и такими же чёрными беспокойными глазами, острым маленьким носом, впалыми щеками и грудью. Он ходил в одной одежде, которая обновлялась у него только в зависимости от сезона. Мать с утра оставляла сыну рубль на двоих с младшей сестрой Наташей.

Когда Евтухова впервые спросили: «Как тебя зовут?», то он, тогда ещё совсем маленький, ответил по слогам под всеобщий смех окруживших его пацанов постарше: «Ан-ду-ду-ша». Его стали звать Дудушей. Потом один пятиклассник, услышавший в школе на уроке рассказ Куприна «Ю-ю», окрестил Андрея этим литературным кошачьим именем. Во дворе сразу подхватили новое прозвище, но вскоре скрестили Дудушу с Ю-ю и получился Ю-юша.

На этом мы не остановились и придумали хлётко, по-пацански, называть Евтухова «Юшман». Воспалённый коллективный разум продолжал креативить, и Юшман превратился в Душмана. Но когда мы обращались к нему: «Э, Душман!», то прохожие оборачивались, а некоторые вздрагивали и внимательно и серьёзно смотрели на нас. Советский Союз вёл тогда войну в Афганистане. В итоге мы решили остановиться на Юшмане.

Юшмана не любили. Он ничего не делал просто так и за всё обязательно потом предъявлял ростовщический счёт. Однажды он пригласил меня в гости. Мы сидели на кухне при лунном свете и грызли каждый по горбушке хлеба, натёртой чесноком. В холодильнике у них было — хоть шаром, а свет мамка велела «не напаливать».

Мне казалось, что я в жизни не ел ничего вкуснее этой хрустящей горбушки свежего ржаного хлеба, натёртой острым дразнящим чесноком и посыпанной крупномолотой солью. Вскоре пришла с работы мать Юшмана. Она включила свет, открыла холодильник, и её уставшее и осунувшееся лицо перекошилось. «Андрей!!! — истошно закричала она, как будто сын не рядом сидел на табуретке, а заблудился

где-то в лесу. — Ты зачем молоко выпил, сволочь!!! Я хотела нам утром каши сварить!!!»

Потом Юшман осаждал меня просьбами купить ему то мороженое, то стакан фруктового сока, ведь он же угостил меня хлебом с чесноком. И много лет спустя он ничуть не изменился. Мы случайно встретились с ним возле ларька, где пили пиво с товарищем по работе. Юшман попросил и его угостить, а чтобы я не вздумал отказать, он припомнил, как восемь лет назад я сломал ногу, катаясь на лыжах в овраге, а он на санках отвёз меня домой. Когда я взял ему того же недорогого пива, что и себе, то он разочарованно вздохнул: «А я думал, что ты мне «Баварию» предложишь». Вот за такие «штучки» Юшмана и не любили, и он был первым человеком, которому я набил морду.

Очень скоро Юшман накопил дешёвых гашёных марок в киоске и приобрёл такой же, как у меня, небольшой кляссер, с которым он расхаживал по двору, как талмудист с Торой, окружённый стайкой дошколят. Потом Юшман сел в беседке, спрятавшейся под высокими раскидистыми ивами, раскрывал альбом и, водя пальцем вдоль прозрачных карманов с марками, как по строчкам книги слева направо, демонстрировал ребятам свои «сокровища».

Узнав, что у филателистов принято обмениваться марками, Юшман попросил меня вывести его «в свет», а именно познакомить с самим Мезисом, с которым мы иногда совершали обоюдодружественные сделки. Когда мы зашли к Мише, то Юшман, в чьём лице часто читалась причудливая борьба подлинного с притворным, улыбнулся одновременно заискивающе и хищно. Мезис, немного растерявшись от такой двойственности и выпучив глаза, смотрел на гостя с удивлением и недоверием.

Когда я объяснил Рупору цель нашего визита, то он, всё так же косо и подозрительно глядя на Юшмана как на личность, не вызывающую ни малейшего доверия, холодно сказал: «Хо-ррр-ошо. Заходите». Мы сели за стол в его комнате, и Миша, включив настольную лампу, стал листать альбом Юшмана. Там были только такие невзрачные марки, которые не жалко было бы наклеить на почтовый конверт. Ярко освещённое лампой лицо Мезиса накрыла явственная тень разочарования.

«Х-ррр-еновые у тебя ма-ррр-ки», — захлопнув альбом, вынес свой вердикт филателист со стажем. Юшман жалко улыбнулся, а навернувшиеся слёзы придали его чёрным глазам блеск антрацита. С трудом проглотив ком в горле, он безнадежным, готовым сорваться на плач голосом выдал: «А марками меняться мы не будем?» Мезис, брезгливо выпятив нижнюю губу, решительно положил конец дальнейшим поползновениям: «Неинте-ррр-есно!»

Вскоре у нас во дворе появился ещё один филателист. Однажды я сидел на качелях во дворе, и вдруг налетела огромная чёрная туча. От ветра стало холодно, и крупными хлопьями повалил снег. Это были отголоски Чернобыльской аварии, о масштабе которой в прессе были очень скудные сообщения. Взрослых, как обычно, погнали на первомайскую демонстрацию. Люди шли по площади и удивлялись кружащему над их головами снегу. Только в середине мая по центральному телевидению генеральный секретарь снял «табу»: «Нас постигла беда».

Я уже хотел спрыгнуть с качелей, как заметил идущего по тропинке двора мне навстречу мальчика в школьных брючках и белой рубашке с галстуком-бабочкой. Когда он приблизился, я увидел перед собой светловолосого, с зачёсанной набок чёлкой крепыша с большими ясными глазами и ангельским лицом.

«Ты из какого подъезда?» — спросил он. «Из четвёртого», — ответил я. «А я — из восьмого. Лёха», — представился он и протянул руку. «Ты с кем дружишь?» — снова спросил Лёха. Я, немного подумав, прихвастнул: «Со всеми». «А у меня нет друзей, — грустно сказал мальчик, уставившись в землю. — Давай с тобой дружить». «Давай», — согласился я.

Лёха Мишенин заканчивал первый класс и жил на девятом этаже в трёхкомнатной квартире с мамой, сестрой Женькой и болонкой Филькой. В зале у них стояло большое чёрное пианино, из-за которого я и зачастил в гости к новому другу. Мне нравилось нажимать пальцем на клавиши поочередно и прислушиваться, как низкие басовые ноты плавно перетекают в высокие, похожие на звон хрустальных колокольчиков.

В такие минуты я ощущал, что во мне есть что-то великое и мощное, рвущееся из тела. Сначала я чувствовал, как это нечто во мне,

как огненное дыхание, распирало и обжигало легкие, а потом, сжавшись в комок, поднималось вверх по горлу, а дальше в виде воздуха следовало через нос, раздражая его щекоткой, и изливалось наружу слезами восторга. Веки после этого сами опускались, и ресницы тут же промокали. Затаив дыхание, я прислушивался к биению сжимавшегося и разжимавшегося, как кулак, сердца: тук-тук, тук-тук, я-тук.

«Давай покажу, как я умею», — говорил, подсаживаясь рядом, Лёха. От его «Собачьего вальса» меня охватывала эйфория, но каждый раз, пытаясь повторить его игру, я извлекал из инструмента только дикую какофонию. Тогда к нам подбегал рассерженный Филька и яростно ругался, так вскидывая голову вверх, что его кудряшки на лбу подпрыгивали и обнажали угрожающе смотревшие на меня чёрные глазки-бусинки, горящие от гнева. Лёха, топая ногой, кричал на него: «А ну, цыц!» И обиженный четвероногий меломан отступал, порывая себе под нос что-то похожее по звучанию на человеческое: «Безобразие!»

Мама Мишенина работала учителем музыки в школе. Она элегантно одевалась, с достоинством держала осанку и имела представительную внешность. В профиль она была похожа на древнегреческую музу с чёрными волосами и идеально прямым точёным носом.

С холодным интеллектом в глазах, она была холодна и в обращении с нами. Но когда сын приходил домой, перепачканный как поросёнок, мама с трагическим надрывом в грудном голосе восклицала: «Лёша, я же просила тебя быть аккуратным! Горе ты моё луковое! Иди в ванну!»

«Горе луковое» мрачнело лицом и, уперевшись пяткой в пол, нервно скидывало без помощи рук сначала один башмак, а затем и другой, после чего, набычившись и вжав голову в плечи, шло в ванну. Мне подумалось, что таким же, наверное, был и его отец, которого Лёшина мама, встречая у двери после работы, тоже просила быть аккуратным и отправляла в ванну.

Все мы бегали по теплу в спортивных и футбольках, а в жару — в шортах и майках, но Лёха, как джентльмен, неизменно щеголял в костюмных рубашках и брючках со стрелками. Единственной уступкой, которой он добился от матери своим категорическим отказом, бы-

ло право не носить галстук-бабочку, из-за которого над ним потешались.

Однажды белобрысый мальчик с крупными «лошадиными» зубами, Серёжа Доронин, — «тридцатик» (такого «титула» в нашем городе достаивались все, кто учился в школе для умственно отсталых) — так разошёлся, смеясь и тыча пальцем в Лёхину «бабочку», что не мог остановиться, как заика, застрявший на какой-нибудь букве. И тут ему суждено было узнать, что за ангельским личиком мальчика с «бабочкой» скрывается дьявольский характер.

Недолго думая Лёха молниеносно влепил «тридцатику» затрещину, от которой тот клацнул зубами, чуть не прикусив язык, а в ушах у него эхом зазвенел залихватский голос Мишенина: «Тридцать-зубастый — хрен волосастый!» Не успел Серёжа опомниться, как маленький джентльмен, согнув крючком и растопырив указательный и средний пальцы, схватил ими хохо-туна на нос и повернул кисть руки вправо, как ключ в замке, превратив нос Доронина в «сливу».

Ошеломлённый и окончательно деморализованный Серёжа завыл как сирена, нагнувшись и широко раскрыв рот. Казалось, что его сейчас вырвет, но вместо этого из васильковых глаз градом посыпались на песок слёзы. Лёха шмыгнул носом, сам чуть не заплакав, и с раскаянием на лице смущённо сказал: «Ой, прости, Серый, я не хотел».

Вскоре выяснилось, что Мишенин — опасный товарищ. Он бил стекла в строящихся домах. Дразнил влюблённые пары, которые не всегда реагировали толерантно, и нам вместе с Лёхой приходилось делать ноги. Из-за него за нами гонялся с кирпичом вокруг дома папа Юрочки-«тридцатика». Однако мне очень скоро удалось положить конец его бесчинствам.

Когда мы шли гулять за пределы двора, то всегда я определял, куда мы идём и кто с нами идёт. Лёху я не брал до тех пор, пока он с мольбой в глазах не обещал, что будет вести себя прилично. Своё слово он всегда держал как никто. Мне казалось, у него было природное понимание важности репутации — «Единожды солгавший, кто тебе поверит?»

Лёха сразу увлёкся через меня марками. Да и сам он был натурой увлекающейся. Но если я подходил к делу основательно, собирая деньги и



выбирая лучшее, то он, как и Юшман, быстро накупил всякой всячины за мамины деньги. Таким образом, нас стало трое во дворе, не считая Мезиса, сидевшего в «башне из слоновой кости».

Обида, нанесённая Мишей Юшману, сидела в его сердце занозой. Поэтому, когда Лёха показал Евтухову свой альбом, тот пренебрежительно усмехнулся и процедил: «Фигня это у тебя, а не марки». Мишенин нахмурился, и волосы у него на голове как будто зашевелились и приподнялись, а потом он бросил на Юшмана такой убийственный взгляд, которым, как я часто видел, уже став взрослым, обменивались литераторы, нелестно отзывавшиеся о творчестве друг друга и ставшие не разлей врагами на всю жизнь.

Настало лето 87-го. В одно солнечное июньское утро мне исполнилось десять лет, и мы с мамой начали обход родственников с тёти Люды. «Мы за подарками!» — бесцеремонно и возбуждённо сразу с порога прокричал я, как будто очень торопился и боялся, что мне дня не хватит собрать со всех подарки. «А мы зна-аем!» — весело глядя на меня и лукаво улыбаясь, пропела тётя.

Мы зашли в комнату, и тётя достала из стенки почти полную бутылку-копилку с белыми монетками в двадцать копеек каждая, которые она весь год собирала для меня со сдачи в магазинах. На кухне сидел разобиженный Ереваныч и бурчал под нос: «Козёл Горбатый! Развёл бардак в стране!» «Сухой закон» ещё не отменили. С утра пораньше Ереваныч сбегал на центральный рынок и купил у каких-то мошенников, приехавших на грузовой машине якобы с завода, бутылку водки, в которой оказалась обычная вода из-под крана.

«Дари подарок!» — властно приказала Ереванычу тётя, указав пальцем на карман его клетчатой рубашки, который оттопыривали деньги. Тот, всё ещё находясь на своей волне в расстроенных чувствах, обиженно спросил: «Сколько тебе исполнилось?» «Десять», — ответил я. «Э-эх! — простонал непохмелившийся Ереваныч — И что ж я маленьким не сдох!» Он вытащил из кармана красную десятирублёвку с портретом Ленина и звонко припечатал её ладонью к столу. «Держи «лысого» и будь здоров!» — напутствовал он, а потом, зажмурив глаза, с отвращением на искривлённых

губах залпом выпил полстакана воды, налитой из бутылки с водочной этикеткой.

В то время многие ещё пребывали в эйфории и из каждого утюга лилось: «Гласность — Перестройка — Ускорение. Больше демократии — больше социализма!» А такие «вещуны», как Ереваныч, — «Дерьмократы, мать их!» — были первыми вестниками надвигающейся беды.

Посидев немного у тёти, мы с мамой поехали к бабушке. Водитель троллейбуса мчал, как Шумахер, точно знал, что у меня день рождения, и хотел меня порадовать быстрой ездой. Вымытые окна с приоткрытыми форточками ослепительно сверкали, наполняя салон солнечным светом и ветром. Всю дорогу мы с мамой ехали одни. В троллейбус на остановках никто почему-то не заходил, да и людей на улицах было очень мало.

Мне казалось, что мы попали в волшебный троллейбус, который везёт нас в «прекрасное далёко», а за рулём сидит спиной к нам и улыбается гость из будущего. Вот сейчас мы выйдем на своей остановке и увидим не мрачный областной военкомат, а гигантский шарообразный космодром, отправляющий и принимающий жителей со всей галактики. Я побегу к киоску с мороженым, а мне преградят дорогу два туриста с Альфа Центавра и с инопланетным акцентом спросят: «Земляк! Как пройти в Пушкинский музей на Ватутина?» А я отвечу: «А он ещё не построен».

Когда мы вышли на остановке, то увидели те же серые железные ворота военкомата с прикрученными к ним двумя объёмными красными звёздами из жести. Но я продолжал ощущать себя летящим сквозь пространство и время в солнечном троллейбусе, который когда-то высадит меня на одном ему известной остановке, и там меня встретят, и для меня начнётся другая — настоящая — жизнь.

День рождения прошёл как обычно. Дразнящий, сладкий с кислинкой запах свежей и сочной клубники смешался с рвотным запахом самогона, а наши с мамой трезвые голоса потонули в пучине пьяного ора деда с дядей Сашей и ругани бабушки, закончивших свою попойку уже без нас.

Ближе к вечеру я захотел мороженого. Во дворе мне встретились Юшман с сестрой, уже

успевшие загореть как цыганята, и, услышав про мороженое, тут же увязались следом «просто так». По дороге я споткнулся и рассёк коленку об острый камень, выступавший из земли на тропинке, ведущей вверх по небольшому склону к кулинарии.

Я попробовал подняться, но тупая боль в колене осадил меня. В таких случаях обычно мы прикладывали к ранке подорожник, сначала поплевав на него. Только я хотел попросить Юшмана об этой услуге, как он, оскалившись улыбка голодной гиены, сказал: «Отдай мне деньги». «Как?!» — не поверил я. «Ты же всё равно не можешь идти, — пристально и странно глядя мне в глаза, продолжил Юшман. — А мы с Наташкой мороженого поедем».

Меня охватил такой лютой гнев, что я сразу почувствовал прилив нечеловеческих сил и как тигр набросился на Юшмана. Я опрокинул его навзничь и надавил на впалую грудь коленкой, крепко стиснув его руки повыше запястий. Мне не хватало духу ударить человека по лицу, даже если оно было настолько отвратительным, что в него хотелось плюнуть.

Пока я колебался, Наташка, сняв сандалии, колотила меня ими по спине, а я отмахивался от неё головой. Она отскакивала назад и снова нападала. Юшман с ужасом и ненавистью смотрел на меня, ожидая разящего удара. Он поверил в меня, и я, поверив в себя, от души заехал ему в левую скулу. Юшман, припечатанный правой щекой к земле, отчуждённо закрыл глаза и затих.

Я так придавил его грудь коленом, что он мог только хрипеть и сопеть, но, когда я встал и пошёл прочь, Юшман зарыдал у меня за спиной во весь голос. Наташка швыряла мне вслед мелкие камешки и нечленораздельно рычала.

Во дворе мне встретился Лёха, который сочувственно меня выслушал, а потом в его небесных ангельских глазах снова заплясали весёлые бесенята, и он воодушевлённо предложил: «А давай Юшмана грабанём!» Мысль ограбить Евтухова, который при свете вечерней звезды натирает горбушку хлеба чесноком, показалась мне настолько нелепой, что я не удержался от смеха. «Чего ты ржёшь? — насупился Лёха. — Я всё придумал. Мы придём к нему, и я скажу, что хочу с ним марками меняться. Он выйдет во двор, а мы вырвем у него из рук альбом и убежим».

Юшман надоел всем хуже горькой редьки. Этот «ростовщик наоборот» пробавлялся попрошайничеством. Чем больше мы ему давали, тем больше он просил и даже требовал. Вместе с Костиком и ещё двумя друзьями, подзуживаемые Лёхой, мы сговорились «прочитать» Юшмана с условием, что вернём ему альбом с марками.

Следующим утром мы все пошли к нему. Евтухов открыл дверь, и Лёха оглушил его своей трелью, как коробейник: «Выходи меняться марками!» Юшман недоверчиво скользнул взглядом по нашим притворно равнодушным лицам, и мне показалось, что он догадался, зачем мы пришли. Наверное, это почувствовал и Лёха, который, импровизируя на ходу, стал заливать, что мать подарила ему 25 рублей на день рождения и он накупил в «Союзпечати» много новых и красивых марок.

Благоразумие вылетело из головы Юшмана, как «птичка» из аппарата фотографа. Глаза его увлажнились и затуманились, как стёкла, запотевшие от пара, а мозг уже всю кипел, генерируя идеи по честному обману путём неравноценного обмена.

Мы вышли и сели на скамейку возле подъезда, а вскоре выскочил и Юшман с альбомом под мышкой. «А где твои марки?» — хищно улыбаясь, вкрадчиво спросил Юшман Лёху, облокотившегося на спинку скамейки и вытянувшего скрещенные ноги. «Ты сначала свои покажи, а я посмотрю, стоит ли с тобой меняться», — наигранно холодно ответил Мишенин, безразлично глядя мимо Юшмана. «Ладно», — охотно согласился тот. «Ну-ка, пацаны, двиньтесь!» — входя в роль лидера, скомандовал нам Лёха. Юшман уселся рядом и не спеша начал перелистывать страницы альбома, всячески нахваливая свои марки.

Юшман даже не подозревал, насколько мы все были наэлектризованы. Если бы он случайно прикоснулся к кому-нибудь из нас, то его ударило бы током, как из трансформаторной будки, на которой нарисованы череп и кости. От напряжения я почувствовал, что мои ноги стали как ватные, а кисти рук похолодели. В желудке засосало так, что закружилась голова. Мне стало страшно от мысли, что сейчас, когда все побегут, мне не хватит сил подняться со скамейки, и Юшман, впившись мне

в горло костлявой рукой, гортанно закричит: «Вот кто мне за всё заплатит!»

Лёха неровно и шумно дышал ртом, наполняясь решимостью, и смотрел в альбом неподвижным стеклянным взглядом. Юшман, ни о чём не подозревая, продолжал ломать комедию: «Вот эти марки у меня самые классные. Ни на что их не поменяю». «А ну-ка, дай посмотреть», — не своим, дрожащим от волнения голосом сказал Мишенин.

Лёха наклонил голову ближе к маркам, а сам тем временем незаметно просунул левую ладонь между рук Юшмана, ухватившись ею за низ альбома, а правой ладонью — за верх, а потом с силой рванул альбом на себя. Мы сорвались со скамейки, будто стайка реактивных воробьёв с куста.

Сначала Юшман бросился за нами рефлекторно, как человек, выронивший из рук чашку и пытающийся её поймать на лету. Но, сделав несколько шагов, он почувствовал, что ноги больше не повинуются ему. Шокированный мозг оказался в ступоре, отказываясь воспринимать происходящее. А потом сзади раздался такой леденящий душу вопль, что мне стало жутко, как будто мы кого-то нечаянно убили.

Добежав до угла дома, я в последний раз оглянулся. Юшман сидел на скамейке, закрыв лицо ладонями, и в истерике дрыгал ногами в воздухе. К нему подошла женщина в голубом платье без рукавов, с белой панамой на голове. Она энергично трясла Юшмана за плечо и о чём-то спрашивала звонким гулким голосом.

Мы были так взбудоражены случившимся, что забыли об уговоре вернуть альбом. Ноги сами несли нас через дворы к 38-й школе. Потом мы ещё долго кружили по дубовой посадке и, выбравшись из неё, присели на лавку возле баскетбольной площадки.

Лёха открыл альбом и, закричав как сумасшедший: «А-а-а!!!», вырвал тонкий прокладочный лист, вклеенный между картонными листами. И сразу, как сговорившись, пять пар рук, расталкивая друг друга, как голуби, накинувшиеся на хлеб, стали быстро вытаскивать из прозрачных кармашков марки — кому какие достанутся. Я подумал, что если бы Юшман мог это видеть, то курчавые волосы на его голове распрямились бы, а потом у него случился бы разрыв сердца.

Когда мы опустошили весь альбом, Лёха разорвал его, как письмо, на части и выбросил в посадку. После дележа на нас напало уныние. Домой возвращаться было страшно и стыдно. Юшман там, наверное, уже поднял всех на ноги. Мне казалось, что по дворам разъезжают милицейские «бобики» и разыскивают нас. Покружив ещё немного по дворам микрорайона, мы снова вернулись к 38-й школе попить воды и наткнулись на Сашу-Толю.

Это были два высоких и худощавых брата-близнеца — светловолосые, голубоглазые и длинноногие. С чьей-то лёгкой руки, чтобы не путаться, кто из них Саша, а кто — Толя, к ним стали обращаться: «Саша-Толя». Но мы легко научились различать близнецов. У Саши лицо было вытянутое, бледное и «холодное», а у Толи — круглое, розовое и «тёплое». Саша редко улыбался и имел надменный вид, а Толя сиял как начищенный самовар. Нам всем больше нравился Толя, но командовал в их «тандеме» Саша.

Семья Андрусенко, в которой, помимо Саши и Толи, появился их младший брат Максим, была единственной многодетной в нашем большом доме, рассчитанном на тысячу человек. И она же была одной из самых нуждающихся. Саша с Толей были на год старше меня и всегда бегали вместе, как два собачонка с высунутыми языками. В сезон они обновили окрестные фруктовые деревья.

Сделав зверское лицо и оскалив зубы, Саша набросился на нас. Схватив двух первых попавшихся за руки, он грозно зарычал: «Хватай их, Толян!» Но Толя стоял за спиной брата, засунув руки в карманы, и добродушно улыбался. Мы засмеялись ему в ответ и расслабились. «Вам смешно?! — продолжал бушевать Саша. — А вы знаете, что Юшман целый отряд нанял вас искать?!» «Как нанял?» — удивился я. Саша вынул из нагрудного кармана рубашки две синие пятирублёвки: «Это наш с Толяном гонорар!»

Сначала меня поразили такие финансовые возможности попрошайки Юшмана, неожиданно превратившегося в Шейлока дворового масштаба, но вскоре я всё понял. Каждый день, уходя на работу, мать оставляла ему рубль на двоих с сестрой. Он эти деньги копил, а кормился тем, что выпрашивал у нас — то мороженое, то лепёшку, то стакан сока. И

вот теперь на наши деньги Юшман нанял «охотников за головами».

«И что ему нужно?» — снова спросил я. «Он сказал, чтобы мы вам накостыляли и привели к нему», — ответил Саша. «Так вы что?! Против нас, что ли?!» — набычился коротышка Лёха, изобразив подобие бойцовой стойки. «Пацаны, давайте договоримся! Вам повезло, что вы на нас с Толяном нарвались, а не на Димона с Рымычем! — Саша извлёк из кармана мольницу, в которой оказался кусок мамкиной твердой туши. — Давайте мы вам нарисуем фингалы и приведём во двор, а дальше делаете с Юшманом что хотите».

Во дворе мы появились как пионеры-герои, после пыток в гестапо вedomые на расстрел под конвоем. Наши лица, руки и ноги «украшали» фальшивые синяки. Во дворе было тихо и почти безлюдно. Юшман сидел за столом в беседке, которую превратил в подобие ставки верховного главнокомандующего. Иногда к нему подбегали запыхавшиеся «посыльные» — малявки-дошколята в шортиках и майках с панамками из газеты на головах — и докладывали о ходе поисковых работ.

Заметив нас, Юшман вышел навстречу. Мне казалось, что сейчас он посмотрит на нас глазами, полными укоризны, сокрушённо вздохнёт и скажет: «Эх вы!» Но когда мы приблизились друг к другу вплотную, Юшман приосанился, и по его губам скользнула, извиваясь змеёй, гаденькая улыбка, а в глазах зажглись огоньки злого торжества. Наверное, такое лицо было у Саломеи, когда ей принесли на блюде отрубленную голову Иоанна Крестителя.

Коснувшись правой рукой бедра, как коббой кобуры, я сжал пальцы в кулак и, опустив глаза, готовился молниеносно захватить Юшману в челюсть. Но в этот момент к нему подскочил Костик и врезал кулаком «по кумполу», а следом набросился Лёха и надавал Евтухову болезненных подзатыльников. Это было второе за день потрясение для нашего Шейлока, с которого сразу слетела фельдмаршальская спесь. Он растерянно смотрел на Сашу с Толей, а те ржали, как два сытых жеребца, запрокинув головы и скаля крупные белые зубы. И тут нас всех накрыл оглушительный, будто кричащий в рупор гаишника, голос: «Вы совсем ду-ррр-аки?!? Совсем ду-ррр-аки?!?»

Мезис набросился на Лёху и Костика, потешно размахивая короткими и толстыми руками и ногами. Он словно хотел ударить по невидимому мячу, но каждый раз промахивался, и его от этого болтало, как моряка во время качки. Растолкав нападавших и закрыв Юшмана собой, Миша с огненным негодованием обрушился на всех нас: «Знаете, как называют таких, как вы?! Ва-ррр-ва-ррр-ы!!!»

На следующий день я нашёл Юшмана в той же беседке, бывшей недавно его командным пунктом. Он сидел мрачный и сильно задумавшийся. Мне казалось, что он всё глубже погружался в депрессию, как Золушка, у которой карета превратилась в тыкву. Я положил перед ним на стол свою долю его марок. «Зачем они мне?» — нервно, на грани новой истерики спросил Евтухов. Я пообещал, что остальные тоже вернут ему всё. «Дурачки вы все! — взвинченно закричал Юшман, вставая, и слёзы брызнули из глаз. — Я больше никогда не буду собирать марки!»

Тридцать лет спустя в моей жизни многое изменилось. Я жил в другом месте и потерял связь со своими старыми друзьями. Однажды мама рассказала мне, что видела Мишу Мезиса. Он стал появляться возле нашего дома, рядом с которым находился «Карман». Это злчное место с утра притягивало к себе спившихся и опустившихся людей, которые приставали к прохожим и кланчили мелочь. Потом они выпивали несколько стаканчиков дешёвого пива и задавали храпака на скамейках в окрестных дворах.

Как рассказала мама, родители Миши умерли, а квартиру они с сестрой, вышедшей замуж, разменяли на две отдельных. Теперь Мезис жил недалеко от нас, и однажды, возвращаясь домой тёмным и душным августовским вечером, я увидел Мишу на скамейке во дворе соседнего дома. Он лежал на животе, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку; казалось, что он не спит, а плачет. Волосы у него на затылке щетинились, как иголки у ежа.

Воспоминания с такой силой нахлынули на меня, что я в них погрузился как в сон... Я вижу, что разбитая, как после бомбёжки, дорога, рытвины которой жители залатали белым строительным кирпичом, на моих глазах застывает ровным и гладким асфальтом. А в уши

вливается, пробирая до самого естества, звонкий и чистый хрустальный звук: «Слышу голос из прекрасного далёка...»

Я чувствую, что лежу на диване под одеялом и затылок немного покалывает от слежавшейся жёсткой подушки. И тут, как петушинный крик на рассвете, пронзительный и мощный голос тревожит меня: «И-ррр-ина! Наташа! Вставайте! В школу по-ррр-а!!!»

Я открываю глаза и вижу, что мы сидим с Мишей за столом в его комнате и рассматриваем альбом с марками. Мне кажется, что вот-вот под палящим светом настольной лампы эта нарисованная божья коровка в сочной траве оживёт, зашевелит лапками, выберется из прозрачного кармашка кляссера, а потом раскроет крылышки и улетит.

Я слышу, как в соседней комнате штекер воткнули в розетку и серебряный голос из телевизора запел: «Я клянусь, что стану чище и добрее...» И тут же у нас за спиной раздался громкий мужской голос: «Михаил! Иди фильм смотреть!» Я оборачиваюсь, и меня ослепляет синяя вспышка.

Передо мной раскрытое окно первого этажа, из которого через светящиеся в темноте шторы по всему двору разносится бешеный лающий голос, как у собаки, рвущейся с цепи: «Президент принял трудное и непростое решение! Со следующего года на территории Российской Федерации пенсионный возраст повышается на пять лет для мужчин и для женщин!»

Мезис замотал головой и что-то зарычал в пьяном бреду. Мне послышалось, что он сказал: «Не т-ррр-огайте меня!!!» Я ещё раз посмотрел на это несчастное, содрогающееся от спазмов тело и не стал беспокоить Мишу, потому как почувствовал, что пробуждение для него окажется страшнее любого кошмарного сна.



### *рассказ*

Любая эпоха имеет два лица. Она терпеливо принимается переделывать по образу и подобию своему тех, кто вылеплен из глины, и с ожесточением набрасывается на тех, кто высечен из гранита. Что ожидает маленького человечка, бодро шагающего с ранцем в школу?

В августе 84-го я две недели ходил на «подготовку». Это были двухчасовые занятия, на которых наша первая учительница, Валентина Сергеевна, тестировала нас. На первом занятии мы степенно расселись за парты, всем видом показывая, какие мы взрослые и серьёзные. Но Валентина Сергеевна, словно пушинку смахнув с рукава, быстро сбילה с нас эту спесь и заставила плясать под свою дудку.

Сами уроки больше походили на репетиции. Валентина Сергеевна от звонка до звонка учила нас повторять речёвки, добиваясь и слаженного звучания хора, и усвоения нами на будущее таких правил, как то: «На уроках не болтай, как заморский попугай!» или: «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут!» Видимо, её жизненное кредо было: «Меньше слов — больше дела!»

Валентина Сергеевна была невысокой, крепко сбитой, но не толстой, кучерявой брюнеткой с чёрными вдумчивыми глазами. Говорила она густым басом. У этой пожилой женщины, всю жизнь просидевшей над тетрадками своих учеников, голова всегда была немного наклонена вперёд, отчего её взгляд исподлобья казался мне особенно пронизательным.

Когда мы скандировали речёвки, Валентина Сергеевна внимательно прислушивалась к нам, как к разноголосому пению птиц в лесу, хмурия брови и пытаясь уяснить что-то важное для себя. Через несколько дней она задорно обратилась к мальчику, сидевшему на последней парте: «Ну-ка, Прудников, скажи нам, в какой стране ты живешь?» Тот встал, нескладный и высокий, посмотрел на учительницу затуманенными глазами и промышчал, растягивая по слогам: «В А-ме-ри-ке!» Класс ответил ему гомерическим хохотом, от которого мне стало не по себе. Прудников «тонул» под всеобщее ликование. Валентина Сергеевна широко улыбалась, но глаза её были непроницаемы. «А в каком городе мы живём, Прудников?» — продолжила она, когда хохот затих. «В Мо-скве-е!» И снова неистовый хохот. После «подготовки» Прудникова отправили в тридцатую школу для умственно отсталых.

В сентябре начались уже настоящие занятия в школе. Нам выдали издававшие виды учебники, а родители обеспечили всем остальным. Уже на первом уроке я понял, почему мне стало жалко Прудникова. Валентина Сергеевна спросила: «Поднимите руку, кто из вас умеет читать?» Рук поднял только я. Товарищи смотрели на меня: кто — с сомнением, кто — с завистью, кто — с испугом, кто — с любопытством. Потом они все громко рассмеялись, очевидно решив, что это была шутка, а я густо покраснел.

На перемене ко мне подскочил Игорёк Пря-

хин, пухлый и белокурый голубоглазый мальчик с розовым поросычьим румянцем и веснушками на лице, вскоре проявивший себя как твёрдый двоечник и забияка. В руке у него была газета «Правда». «На, читай!» — сунул он её мне под нос. Я стал читать: «Обращение Центрального Комитета...» И через минуту Пряхин не выдержал и заорал с перекошенным от злости лицом: «Ты всё врешь! Ты не умеешь читать! Ты говоришь своими словами!»

Когда классная признала во мне «первого ученика», одноклассники смирились со мной как с белой вороной. На уроках Валентина Сергеевна меня не вызывала к доске и, казалось, не замечала вообще. Пока товарищи учились читать по слогам и считать при помощи палочек, я тайно мечтал о славе и, вспоминая недавнюю игру во дворе, в которой отличился пятью голами, представлял себя на месте то Марадоны, то Платини. К окончанию первой четверти у меня по всем предметам стояли одни пятёрки.

Дома бабушка с гордостью показала мой дневник деду, а тот, одобрительно кивнув, достал из шифоньера районную газету двадцатилетней давности, которую хранил как реликвию, хоть и называл язвительно — «брехунок». На первой полосе было фото деда, а под ним стихи:

*В нём чувствуется выправка солдата.  
С ним хоть сейчас и в бой, и на парад.  
Недаром ведь доверили когда-то  
Ему бригадой в поле управлять.*

В общем, дед похвалил меня и назвал молодцом, а я скрепя сердце назвал молодцом его. Бабушка не могла нарадоваться и решила поставить тесто для пирожков.

Всё складывалось для меня хорошо, если бы не вездесущая советская пропаганда. Насмотревшись «Международной панорамы», я потерял покой. Мне стали сниться люди в лохмотьях, живущие на улицах Нью-Йорка в картонных коробках. Несчастные с посиневшими лицами и ввалившимися глазами тянули ко мне костлявые руки. Я просыпался среди ночи испуганный и тихо плакал в подушку. Но потом вспоминал, что живу не в кошмарной Америке, а в советской стране, где люди не го-

лодают, не замерзают и не ходят в обносках. Тогда я успокаивался и снова засыпал.

Но уже в первые школьные дни моя вера пошатнулась. На перемене Валентина Сергеевна вышла в учительскую, а к нам заскочили двое лохматых старшеклассников. Один из них стал поджигать и бросать в нас горящие спички, а второй — нагонять страх своим диким криком. Мы бегали по классу, как перепуганные цыплята, оставленные квочкой.

Я выпрыгнул в открытое на проветривание окно, благо первоклашки учились на первом этаже, сел на бордюры возле дороги и уткнулся носом в колени. Мне хотелось крикнуть этим поджигателям: «Вы же комсомольцы! Наши старшие товарищи! Почему вы нас обижаете?!» Но я видел их жестокие холодные глаза и понял, что говорить бесполезно.

Ещё недавно Валентина Сергеевна втягивала нам: «Октябрята — будущие пионеры!» Но после горящих спичек и октябрятские звёздочки, и пионерские галстуки, и комсомольские значки потеряли для меня всякое значение, как нательный крестик для утратившего веру. Поэтому, когда перед днём брежневской конституции нас принимали в октябрята, я не испытывал радости от сопричастности к событию.

Да и само «посвящение» прошло уныло. После занятий учительница завела нас в столовую и выстроила в одну шеренгу вдоль ручкомойников. В воздухе пахло кислыми щами, которые давали в тот день на обед. Лица моих товарищей тоже были кислыми и беспросветными. Под стук перебиваемых на кухне тарелок Валентина Сергеевна, подбадривающе улыбаясь, поздравила нас.

Потом она каждому приколотла к форме возле сердца рубиновую звёздочку с портретом Ильича. Причём у каждого, слегка оттягивая значок, проверяла — хорошо ли держится, не оторвётся ли. Не только мы, но и классная чувствовала себя в эти минуты в столовой не в своей тарелке. Она улыбалась, но в её взгляде сквозила неловкость. Мне было жалко Валентину Сергеевну, и я вымученно улыбнулся ей в ответ.

Если учительницы других начальных классов были молодыми мамами, озабоченными своими семейными проблемами, то нам дос-

талась до мозга костей советская патриотка на пенсии. После второй смены, когда школа пустела, мы оставались разучивать революционные песни. Любимой песней Валентины Сергеевны была «Варшавянка», которую мы пели раз по пять на день.

Учительница брала в руку указку, заменявшую ей дирижёрскую палочку, медленно кивала головой, и мы начинали. За окнами ноябрьская тьма и ветер, швыряющий мокрым снегом в стёкла, а в классе тепло и светло. Но я бы предпочёл оказаться на улице, где бушевала непогода, чем слышать пение своих уставших после уроков товарищей, похожее на жалобный скулёр: «Вихри враждебные веют над нами...» До сих пор, когда я вижу грустящего человека с поникшей головой, мне кажется, что он поёт про себя «Варшавянку». И как только песня его отпустит, человек поднимет глаза, улыбнется и снова займётся своими делами.

Но главная изюминка нашей классной обнаружилась в её миссионерской жилке. Сейчас мне кажется, что окажись она на острове людоедов, то аборигены не только не съели бы её, но и с восторгом приняли бы коммунизм и взяли за основу ленинский принцип: «Кто не работает — тот не ест».

На уроках классная часто читала нам рассказы об отцах-основателях советского государства, написанные в духе житий святых. Обычно Валентина Сергеевна, любившая облачаться в коричневое платье с белым накрахмаленным воротничком, проповедовала стоя перед классом у доски. Лицо её будто озарялось изнутри и молодело, а голос звучал проникновенно и торжественно. Держа перед собой раскрытую книгу, она пристально смотрела в глаза тому или иному ученику. Учительница давно знала содержание книги наизусть, как хороший пастырь — Священное Писание.

Меня впечатлили многие «житийные» рассказы. Один из них был о часовом, охранявшем Смольный. Красноармеец замерзал на посту, сжимая штык закоченевшими пальцами. Проходивший мимо вождь не мог не обратить внимания на это безобразие: «Товарищ, почему вы без варежек?» «Так ведь не выдали, Владимир Ильич!» — печально вздохнул часовой и спрятал глаза от стыда. «Тогда будьте

любезны взять мои!» — лукаво улыгнувшись, предложил Ленин. А потом Владимир Ильич повёл бойца в свой кабинет, напоил морковным отваром и долго беседовал с ним за жизнь. После разговора согретый часовой ещё крепче сжимал свой штык, непримиримо высматривая какого-нибудь буржуя.

Дома я сразу кинулся к бабушке, готовившей у плиты:

— Сделай мне морковный отвар!

Она пробовала с ложки варившийся суп и чуть не поперхнулась.

— Чи сказывся?! — воскликнула бабушка. Потом, немного подумав, она сказала: — Сидай! — Достала из кладовки банку малинового варенья и заварила нам обоим крепкого грузинского чая.

Мне было досадно, что бабушка такая непонятливая.

— Бери лимонив, балда! — с усмешкой в уголках сияющих серых глаз снисходительно-ласково пропела бабушка.

Я пил чай с вареньем и представлял, как в воскресенье утром бабушка уйдёт на рынок, а я выскочу следом и встану у подъезда, как часовой, без варежек, с клюшкой в руке. А когда бабушка вернётся, то уронит сумку на снег, всплеснёт руками и ахнет: «И-и! Змэрз як цуцик!» Возьмёт меня за руку: «А ну, ходим!» — и отведёт домой. Пока я буду греться на кухне у батареи, бабушка настрогает на тёрке морковки, зальёт её в кружке крутым кипятком и будет отпаивать меня морковным отваром и разговаривать со мной за жизнь.

Пока я так думал, бабушка вкрадчиво спросила:

— Кто тебя этому научил?

Я вспомнил, как на днях перед уроками к нам в класс ворвалась мама Вероники Галай. Вероника была легкомысленной и бестолковой, как испорченный телефон, а её мама оказалась ещё и взбалмошной.

Мама набросилась на Валентину Сергеевну: «Я получаю 90 рублей в месяц, а вы обдираете нас как липку! Где это видано, чтобы детям Никарагуа сдавали по 25 рублей?! Или, может, вы себе собираете?! Я пойду к вашему директору!» Никогда я не видел, чтобы нашу классную так ругали. Она сидела с опущенной го-

ловой, спокойно положив на стол руки, и слушала, как мама Галай с побагровевшим лицом распекает её перед всем классом.

Выждав, пока словесный напор старшей Галай иссякнет, классная встала из-за стола, взяла скандалистку под локоть и с нажимом сказала: «Мы собираем со всех по 25 копеек. Это распоряжение директора школы». Галай молча отчитала мелочь, положила на стол, а дочери рыкнула, как снова пробуждающийся вулкан: «Я с тобой дома поговорю!»

Подумав, что бабушка рассердится и пойдёт разбираться к Валентине Сергеевне, я ответил, что видел в кино, как Ленин поил часовой морковным отваром. Бабушка горько улыбнулась и рассказала мне историю из своего детства.

В начале тридцатых годов в стране был страшный голод, от которого умерло много миллионов человек. Летом, в жару, на дорогах гнили почерневшие трупы, и их никто не убирал. Люди одичали и обезумели от ужаса, каждый спасался как мог. Бабушка тогда была семилетней девочкой и вместе с другими детьми собирала листья деревьев. Она их сушила на печи, измельчала, перетирая ладошками, добавляла щепотку соли и варила в котелке «суп».

Тогда я понял, почему бабушка всегда во время еды сметала со стола хлебные крошки на ладонь и отправляла себе в рот. Её рассказ стал для меня противоядием. Истории Валентины Сергеевны о рабочих и крестьянах, питающихся картофельными очистками и морковным отваром, показались мне слишком радужными в сравнении с варевом из перетёртых сушёных листьев.

И до сих пор, гуляя по городу в ненастную погоду вдоль дорог, обсаженных пирамидальными великанами, я часто останавливаюсь и гляжу на мокрые, сорванные ветром листья, устилающие брусчатку вместе с выползшими на поверхность дождевыми червями. Я всматриваюсь в тонкие прожилки листочков, похожие на линии судьбы на человеческой ладони, и ощущаю присутствие бабушки в себе — как будто это она смотрит моими глазами и видит голодное лето 1933-го. Потом я поднимаю голову вверх, вижу над собой ветви деревьев, с которых продолжает капать после дождя, и внезапно приходит в



голову мысль: за то, что я живу на свете, спасибо листьям тополей.

В один из унылых ноябрьских дней 86-го года я шёл в школу через дворы серо съжившихся хрущёвок. Рано утром было ещё темно и холодно. Асфальт, схваченный прозрачной коркой льда, блестел под фонарями. Где удавалось, я пробирался по замёрзшей и неровной земле. В чистом и звёздном небе высоко надо мной скользил зелёный мигающий огонёк. Я подумал, что это космический спутник, и меня охватило острое чувство надвигающейся катастрофы. Я предстал, что, когда в классе начнётся политинформация с изучением прессы — «Встреча в Рейкьявике не принесла разрядки! Программа СОИ будет продолжена!» — тут-то нас и накроет рухнувшим на школу спутником.

В школу мы тогда ходили с ватно-марлевыми повязками, сшитыми мамами или бабушками. Валентина Сергеевна строго объясняла нам: «Как прозвонит десять звонков, все надеваем повязки и организовано идём в бомбоубежище». Попарно, взявшись за руки, мы спешили в подвальное помещение, оборудованное под стрелковый тир. Мимо нас пронеслись патлатые страшекласники с деревянными муляжами «калашниковых» в руках.

Всё это настолько меня впечатлило, что даже много лет спустя, когда мы сидели в казарме при полной экипировке пехотинца и ждали, пока дневальный возьмёт трубку и закричит: «Рота, тревога!», мне казалось, что из офицерской канцелярии выйдет сосредоточенная и уверенная в себе Валентина Сергеевна и скажет, нахмурившись: «А ну! Кто тут ещё копается, как второгодник?!»

Пока я шёл мимо одной из хрущёвок, из первого подъезда выбежала моя одноклассница Света Кащаева — щуплая остролицая девочка с карими печальными глазами и светлыми длинными волосами. От неё постоянно веяло сиротством и неприкаянностью. Света была похожа на собачку, потерявшую хозяина. Она с мольбой заглядывала в глаза людей, но этим только отпугивала их от себя.

— Сегодня скользко, — предупредил я.

Она кивнула и, вжав голову в плечи, накинула сверху капюшончик красной болоньевой куртки.

— И холодно, — добавила Света.

Зелёный огонёк скрылся за большой и круглой луной, нависшей над городом, и больше не появлялся.

«Наверное, спутник прилунился», — решил я.

Мы со Светой молча пошли по обледенелому тротуару и внимательно смотрели себе под ноги. «Только бы он на нас с луны не свалился», — мрачно подумал я.

— Давай за Мухиной забежим! — схватив меня за руку и умоляюще глядя в глаза, воскликнула Света.

Надя Мухина жила на другом конце дома, построенного на склоне и плавно переходящего из пяти- в шестиэтажный. Мы преодолели высокое бетонное крыльцо подъезда, а потом спустились в цоколь.

Я сразу почувствовал тяжёлый и влажный воздух подвала. Только вместо дверей кладовок здесь были квартирные двери с номерами. Дневной свет если и проникал сюда, то очень слабо, через маленькое горизонтальное окошко. Вдоль стен, выкрашенных грязно-зелёной краской, тянулись трубы, а на выбеленном потолке помаргивала лампочка. На площадке стояли чья-то детская коляска и велосипед «Школьник». За дверями квартир жильцы завтракали и гремели посудой. Где-то смеялись, кричали, переругивались.

Мы подошли к двери, обитой коричневым дерматином и пришпиленными к ДВП декоративными гвоздиками.

Я поднялся высоко на носки, как балерина, и нажал на кнопку. «Тиу-тиу-тиу!» — раздался звонкий свист. Дверь нам открыла бабушка с добрым морщинистым лицом и большими натруженными руками. На ней был серый затёртый халат, поверх которого повязан пёстрый фартук.

Бабушка, улыбнувшись, наклонилась, и я увидел, что её стянутые в пучок пепельные волосы были перехвачены сзади обычным чёрным шнурком для обуви, как и у моей бабушки.

— Вы за Надей? Она сейчас выйдет.

Надя Мухина была самой маленькой девочкой в классе. Она всегда ходила с двумя плетёнными косичками и бантиками. Её тусклые, бесцветные глаза, сонно смотрящие из-под белёсых бровей, навевали тоску на окружаю-

щих. Бледное нездоровое лицо казалось ненатуральным. Как и многие сверстники, она была «двоечницей»-«троечницей».

Она вышла за дверь, и мы застыли как вкопанные на площадке. Света Кашаева отчаянным взглядом утопающей уставилась на Надю, но как будто и не могла до неё докричаться. Мухина равнодушно смотрела перед собой, а я уставился в пол, смущённый условиями, в которых жили люди подземелья. Наконец Надя шагнула вперёд, а следом за ней и мы, как свита.

На улице мне уже показалось не холодно, а свежо. Дул ветер, раскачивая кроны деревьев, бельевые верёвки и скрипучие качели на детской площадке. Я подумал, что лучше бы этим людям, ютящимся в подвале, жить на улице в картонных коробках, как живут бездомные американцы из «Международной панорамы», и тогда Мухина не была бы такой тщедушной и невзрачной.

Я шёл посередине и чувствовал сердцем, что Надя и Света — это Тоска и Печаль, конвоирующие меня в школу.

В соседней хрущёвке в жёлтом окне на третьем этаже был виден силуэт Галай Вероники, не отличавшейся рублей от копеек. Мама расчёсывала ей длинные-предлинные волосы.

Я подумал, что если сейчас ещё и «Вероничка» выпорхнет из подъезда, то это будет уже слишком — Тоска, Печаль и Глупость.

Когда мы пришли на политинформацию, то нас ждал сюрприз. На столе учительницы не было привычных «Известий» и «Правды», зато на доске появилась карта монголо-татарского нашествия. Пока мы собирались, Валентина Сергеевна прохаживалась перед картой как часовой, положив указку себе на плечо, и нетерпеливо ждала, поджав губы. Прозвенел звонок, и она быстро и ловко, как фехтовальщик, стала тыкать указкой в княжества удельной Руси, перечисляя их названия и когда они были завоёваны. Ламинированная карта блестела, переливалась на свету, и я решил подойти к ней после урока и всё хорошо рассмотреть.

Валентина Сергеевна сказала:

— Монголо-татары победили, потому что Киевская Русь была раздроблена...

И чтобы этого никогда больше не повтори-

лось, она решила нас сплотить, разделив класс на «звёздочки», в каждой из которых должно быть по пять человек. Со мною оказались Кашаева Света, Мухина Надя, Галай Вероника и Галищев Славик — крупный и упитанный мальчик, которого дома за двойки ставили на гречку голыми коленками.

Много лет спустя, когда я познакомился с книгами о масонстве, его ритуалах и конспиративных «пятёрках», то призадумался: а не была ли советская патриотка Валентина Сергеевна тайным масоном?

Но тогда мне было не до смеха. Учительница обязала нас всех после школы возвращаться домой только со своей «звёздочкой», провожая друг друга по пути.

Мне до последнего хотелось верить, что это шутка. Холодным душем для меня оказались слова моего единственного друга Романа Ляхова. Когда после уроков я привычно предложил вместе «по домам», он посмотрел на меня как на ненормального:

— Ты что! Нам же Валентинка сказала!

Я разозлился и один пошёл домой. Возле школьной калитки меня окликнул Славик Галищев:

— Э, ты куда почесал?

— Домой, — на ходу ответил я.

— А мы?! — не понял Славик.

Я решил, что «умному — достаточно», и ускорил шаг.

У Славика была кличка Бригадир, потому что на уборке территории Валентина Сергеевна всегда назначала его старшим. Однажды Галищев сказал мне не по годам серьёзную фразу: «Если ты и дальше будешь так работать, я тебя уволю!» У меня было большое искушение бросить метлу и «уволиться» самому, но потом подумал, что если классная напишет ему в дневник, что он не справился с поручением, то Славика могут опять поставить на гречку. И я удержался. Но если бы теперь он вздумал «уволить» меня из «звёздочки», я не стал бы возражать.

На следующий день Валентина Сергеевна задержала меня после уроков и, подозрительно оглядев, спросила:

— Ты почему «звёздочкой» не ходишь?

Я ответил, что мне неинтересно с этими ребятами.

Классная посмотрела на меня как на отрезанный ломоть:

— Ладно. Иди.

Потом начались мелкие придирки. На уроке Валентина Сергеевна нередко лукаво сомневалась, покачивая головой:

— Даже не знаю, что тебе поставить: маленькую пятёрку с большим минусом или твёрдую четвёрку с большим плюсом?

Я был за пятёрку с минусом, но тут-то она и прекращала игру:

— Нет! Я лучше поставлю тебе четвёрку с плюсом, чтобы тебе было к чему стремиться!

Потом началась зима. Снег украсил голые деревья и землю. Одноклассники продолжали ходить «звёздочкой», а меня домой сопровождала стайка пичужек. Они словно ждали меня после уроков, и когда я входил в детский сад, через который лежала дорога к дому, то белощёкие синички начинали весёлую переключку, прыгая по берёзам с ветки на ветку и стряхивая с них пушистые снежинки. Я смотрел вверх, и у меня голова кружилась от этого искрящегося в солнечных лучах великолепия. И казалось, будто не воздух вдыхаешь, а воду студёную пьёшь. Это был воздух свободы.

Вскоре и Роман отбил от «звёздочки». Но домой мы сразу не шли, чтобы не напороться на «патрули» Валентины Сергеевны, а прятались возле школьной теплицы за гаражом с макулатурой. Воодушевлённые «побегом», мы, смеясь, плюхались на портфели, брошенные на снег, и принимались за наши «завтраки». Роман брал для меня бутерброды с копчёной колбасой, а я для него — яблоки.

Мы были оба хроническими «нехватчиками», только каждый по-своему.

Перед школой Роман два года жил с родителями на Кубе и рассказывал, что на «острове свободы» яблоки были деликатесом. Одно яблоко там стоило двадцать копеек на наши деньги, поэтому яблоки резали и продавали даже половинками. Наверное, поэтому Роман никак не мог наесться яблок в Советском Союзе и никогда не отказывался от них, если предлагали.

Подобные чувства я испытывал к колбасе. Копчёную колбасу у нас продавали только по большим праздникам, и за ней выстраивалась

длинная очередь, как в Мавзолей, а родители Романа имели «блат» и могли «доставать» колбасу.

Недолго длились наши «лукулловы пиры». «Глаза и уши» Валентины Сергеевны не дремали и донесли на моего друга так же, как раньше и на меня. Учительница провела с ним беседу и объяснила ему, что он не прав. После уроков Роман, молча и пряча от меня глаза, плёлся за своей «звёздочкой», пытаясь изобразить весёлость. Я сурово смотрел ему вслед и хотел воскликнуть: «И ты, Брут!»

Книги я читал с пятилетнего возраста, и меня интересовали все гуманитарные дисциплины. И именно книги спасли тогда меня от отчаяния и одиночества. Они были моими лучшими и верными друзьями. Моя душа впитывала как губка волю, мужество, благородство и мудрость героев книг, и я ощущал себя иным человеком — не таким, как все.

При школе находился металлический гараж, выкрашенный зелёной краской, с двускатной остроконечной крышей. Он был наполовину заполнен макулатурой, которую пионеры собирали по домам. Под давлением бумаги старые ворота выпирали вперёд, и сквозь щель были видны беспорядочно разбросанные газеты, журналы, книги. Мне непреодолимо захотелось туда забраться.

Я сложил сзади гаража один на один несколько кирпичей, встал на них, ухватился руками за козырёк, подтянулся и оказался на крыше. Потом перебрался, как в седле, поверху на другой конец, где подо мной выпирающие ворота образовали треугольный проход, через который я и проник в гараж. Я лёг на спину, ощущая под собой залежи ещё не прочитанного мною, и мне казалось, что не хватает воздуха, что я вот-вот задохнусь от счастья и сердце биться перестанет.

Сначала я чувствовал себя как та мультяшная мышь, резвящаяся в амбаре, полном пшеницы, а потом принялся рыться в россыпях человеческой мысли, как Али-Баба в пещере сокровищ. Для начала я решил взять с собой «Сундук с серебром», «Жаку-Крокана» и атлас истории СССР за четвёртый класс, в котором была карта монгольского нашествия.

На следующий день я заболел. Утром болела голова, ломило всё тело, поднялась температу-

ра. Я выпил аспирин, сел на ковёр, поджав под себя скрещенные ноги, и стал изучать атлас. Мои глаза внимательно следили за чёрными стрелками на карте, указывающими направление движения орд завоевателей. Монголо-татары через Самарканд и Бухару проникли в Волжскую Булгарию и разорили, не встречая серьёзного сопротивления, а потом, не считаясь с потерями, испепелили Рязань, Владимир, Торжок, Козельск, подбираясь к столице. Никто не мог их остановить.

Я почувствовал нарастающий жар и слабость в теле, температура снова стала подниматься. В голове у меня помутнело... Я стоял на крепостной стене Киева и вместе с защитниками лил на головы татар кипящую смолу. Над нами свистели стрелы, а снизу доносились дикие вопли и проклятия изуверных осаждающих. Но вот они пробили тараном городские ворота и ринулись внутрь. Защитники крепости обречённо ахнули и, схватив мечи, бросились вниз наперехват... Я потерял сознание и забылся.

Пронеслось несколько мгновений лет, и нашу страну захватили «иных времён татары и монголы». Мои одноклассники, которые ещё недавно по указке учительницы ходили «звёздочкой», теперь по указке родителей, начитавшихся «Огонька» и насмотревшихся российских «Вестей», избавлялись от пионерских галстуков и бравировали этим.

Игорёк Пряхин, отец которого одним из первых в городе открыл кооператив, воспрял своим нищим духом. Если раньше он заискивающе крутился возле тех, у кого можно списать контрольную, то теперь он приосанился и свысока поучал своих товарищей: «Покупаешь «варёнки», идёшь на «сотню», снимаешь «тёлку».

Валентина Сергеевна ходила уже с новыми переклашками, как утка со своим выводком. Она постарела и стала прихрамывать на левую ногу. Взгляд у неё был как у раненого в бою, а на лице появились глубокие складки, идущие от углов рта вниз.

### ***Олег Сергеевич РОМЕНКО***

*родился в Белгороде в 1977 году.*

*Пишет стихи и прозу.*

*Автор поэтической книги «Волны времён» (2020).*

*Публиковался в журналах и альманахах, в их числе «Наш современник», «Нижний Новгород», «Земляки», «Родная Кубань» и др.*

*Лауреат областных литературных конкурсов.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

